

Таким образом, в связи с тесным переплетением божественного и людского в «Энеиде», дуплановостью произведения, понимание ритуально-обрядовой основы поведения героев позволяет нам лучше понять их психоэмоциональное состояние и сюжетную канву произведения.

Литература

1. Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида: художественная литература / под ред. С. Апта, М. Гаспарова, С. Ошерова, А. Тахо-Годи, С. Шервинский. Москва: Художественная литература, 1979. [Электронный ресурс]. URL: <http://ancientrome.ru/publik/article.htm?a=1464904231> (дата обращения 20.04.2021).

2. Кифер Отто. Сексуальная жизнь в Древнем Риме [Электронный ресурс]. URL: <https://rbook.me/book/10536309/read> (дата обращения 20.04.2021).

*А.М. Ильина (Россия, Самара)
Научный руководитель Н.Т. Рымарь*

МОТИВ ОДИНОЧЕСТВА И ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ГРАНИЦЫ В ЛИРИКЕ И. БРОДСКОГО

В данной статье рассматривается функционирование основных модусов и форм переживания одиночества в творчестве И. Бродского: эстетическое, социально-психологическое и метафизическое. В работе анализируется реализация мотива одиночества через призму поэтики конкретных лирических произведений поэта. Искусство Бродского отличается тем, что его личный опыт и судьба изгнанника радикально усиливают переживания экзистенциального одиночества в жизни, а на уровне поэтического творчества, на уровне модуса жизни как поэта это порождает необычные формы образности языка, отдельных мотивов.

Ключевые слова: *одиночество, эстетическая деятельность, экзистенциальное одиночество, язык границы.*

Мотив одиночества в поэзии Бродского имеет два измерения. Одно – это жизнь человека, погруженного в бытовую реальность. Эта форма существования становится материалом для поэтического творчества – создавая произведение, поэт отрешается от непосредственно бытового восприятия реальности, что порождает определенную границу между ним и другими людьми, живущими как бы в другом модусе человеческого существования: одиночество оказывается пережито в другом ракурсе и другом масштабе – в знаках и образах экзистенциального.

В современной культуре переживания одиночества, таким образом, поэтически (или философски) отрефлексированные, приобретают другой характер: в эпоху обособления личности, проблема приобретает метафизический характер, и философия XX века говорит об экзистенциальном одиночестве: для

Ж.П. Сартра одиночество – неперемный спутник человека. Экзистенциалы свободы и ответственности в его философии предполагают переживание одиночества по аналогии со смертью, с небытием. Экзистенциальный герой выпадает из повседневности, изолируясь в самом себе, дистанцируя себя от других и от повседневности.

Искусство Бродского отличается тем, что его личный опыт и судьба отверженного, как будто радушно принятого в другом мире, но принятого как чужого, радикально усиливает переживания одиночества в жизни, а на уровне поэтического творчества, на уровне модуса жизни как поэта это порождает формы образности, языка, мотивов, уводящих за границу бытового восприятия.

Обратимся к образному миру поэта. В последнем сборнике Бродского эта эстетическая дистанция предстает как точка зрения растения («Примечания папоротника»). Взгляд со стороны, из чуждой для человека перспективы восприятия, равнодушно фиксирует картины жизни поэта. В стихотворении «Рождественская звезда» взгляд отца – звезда смотрит на младенца с другого конца Вселенной.

В творческом сознании Бродского поэзия становится языком границы, моделирующим переживание одиночества и связанные с ним эмоции страха и ужаса перед опустевшим, обезлюдившим миром, перед непостижимым, отвергающим поэта так, как и он его отвергает. Так, для языка границы поэзии Бродского характерно обращение к мотивам и жанровым формам за пределами актуальной литературы – античным, библейским. Поэт обращается к жанру послания, создавая ситуацию обращения к другому, вводя поэзию во вневременной контекст. Так, в цикле «Post aetatem nostram» Бродский утверждает мысль о цели поэта убрать границы с помощью поэтического языка: «*Поэзия, должно быть, состоит в отсутствии отчетливой границы*» [2, с. 399]. Поэт обыгрывает это выражение, представляя грека, который в прямом смысле планирует пересечь границу государства-стихотворения.

Бродский обращается к мотиву экзистенциального одиночества через призму обращения к образам любви, сна, воспоминания и дистанции, разрыва в контексте поэтической границы.

В стихотворении «Исаак и Авраам» Бродский трансформирует экзистенциальную идею Кьеркегора о рыцаре веры, смещая фокус внимания на этически-эстетическую точку зрения. В царстве Абсолюта духа рыцарь веры – палач Авраам знает все, жертва Исаак – ничего, он лишь постигает мир во время «путешествия», а Неопалимая купина становится ключевым элементом понимания, символическим образом мироздания, непорочного зачатия и креста. Имя Исаака подвергается поэтом графическому анализу, он является прообразом Иисуса и Крестной жертвы: «*И Снова жертва на огне Кричит:/ Вот то, что «ИСААК» по-русски значит*» [1, с. 264].

И это жертвоприношение в концепте экзистенциала одиночества и тоски приобретает вневременной и всеобъемлющий характер, когда поэт, подобно Аврааму и Исааку, становится одновременно рыцарем веры и жертвой.

В стихотворениях «Одиссей Телемаку» и «Итака» поэт обращается к образу одинокого странника. В первом стихотворении герой обращается к сыну через жанр послания. Эта эстетическая форма создает эффект субъективности и интимности, позволяя читателю заглянуть в мысли самого героя. При этом Одиссей находится в пустоте, небытии, он не помнит, кто он, противопоставляет себя грекам, хотя сам является ахейским царем: он забыл свою историю, ему не известны собственные приключения – ни сирены, ни остров Кирки. Посейдон же, бог морей, взял на себя функцию Кроноса в сознании героя, он растягивает время, как воду, а также сознание Одиссея: *«Должно быть, греки: столько мертвецов / вне дома бросить могут только греки... / И все-таки ведущая домой / дорога оказалась слишком длинной, / как будто Посейдон, пока мы там / теряли время, растянул пространство / Мне неизвестно, где я нахожусь, / что предо мной. Какой-то грязный остров, / кусты, постройки, хрюканье свиней, / заросший сад, какая-то царица, / трава да камни...»* [3, с. 27].

Единственное, о чем не забыл герой – это его сын. Кроме того, образ Одиссея сближается с Эдипом, самолично выбравшим судьбу изгнанника: *«<...> без меня / ты от страстей Эдиповых избавлен, / и сны твои, мой Телемак, безгрешны»* [3, с. 27]. Здесь Одиссей проводит границу между миром, который он помнит, в котором живет его маленький-взрослый сын, и миром небытия, из которого самому лирическому герою уже не выбраться.

Во втором стихотворении поэт вводит образ героя совершенно чуждого действительности. Он опошляет гомеровский сюжет, использует просторечие: *«А одну, что тебя, говорят, ждала, / не найти нигде, ибо всем дала. / Твой пацан подрос; он и сам матрос, / и смотрит на тебя, точно ты – отброс»* [4, с. 138].

Однако герой, как и в первом стихотворении, находится в некотором потустороннем мире, где граница расположена в самом сознании героя, и через неё невозможно не только пересмотреть, но и рассмотреть что-то, а сознание героя сбивается, и он впадает в небытие. Так поэт передает собственное ощущение тотальной изоляции от внешнего мира, полное растворение своего героя и самого себя в непостижимом через этот разрыв с действительностью.

И здесь самая важная мысль в абсурдности экзистенциала одиночества и невозможности его преодолеть. Так Бродский преобразует традиционные образы любви, сна, воспоминания, дистанцирования, выражаемые в отношении к определенным сюжетам, где они трансформируются, показывая субъективный характер его поэзии.

Литература

1. Бродский И. Сочинения Иосифа Бродского. Том I. СПб.: Пушкинский фонд, 2001. 304 с.
2. Бродский И. Сочинения Иосифа Бродского. Том II. СПб.: Пушкинский фонд, 2001. 440 с.
3. Бродский И. Сочинения Иосифа Бродского. Том III. СПб.: Пушкинский фонд, 2001. 312 с.
4. Бродский И. Сочинения Иосифа Бродского. Том IV. СПб.: Пушкинский фонд, 2001. 432 с.